

ЮРИЙ ЛОЩИЦ

СЛОВО О ДРУГЕ

Два года подряд приглашали меня на Селезнёвскую конференцию в Краснодарский университет. Но лишь в нынешнем сентябре удалось, наконец, собраться – уже на третью по счёту. Приехал, естественно, чтобы не только присутствовать, но и выступить, а попутно и опровергнуть недавнюю печатную сплетню, что меня-де устроители к себе намеренно не пускают. По прибытии на место навет тотчас и развеялся, “аки дым”. Кстати, мне и слово дали первому. Думаю, учтено было то, что, действительно, не так уж много осталось на свете тех, кто – в Краснодаре ли, в Москве ли, в иных градах и весях – вправе именовать себя прижизненными друзьями Юрия Ивановича Селезнёва.

Но текст своего выступления – “Наш Юрий Селезнёв. Слово о друге” – приведу немного позже. А пока – хотя бы самые первые впечатления о самой конференции. Названа она без вызова и аффектации, но широко, с намерением представить как можно более полный тематический обзор и композицию собрания: “Наследие Ю. И. Селезнёва и актуальные проблемы журналистики, критики, литературоведения, истории”. Определённой не сказать. За сорок четыре года своей внезапно оборвавшейся жизни Юрий Иванович успел зрело осмыслить и отважно выразить такие мировоззренческие тревоги, тупики и чаяния своих соотечественников, что столь горячее наследие и сегодня сопротивляется благодушной музеефикации... Приведу названия лишь некоторых выступлений: “Идея Ю. И. Селезнёва о Третьей мировой идеологической войне: 40 лет спустя”, “Фальсификация истории как способ ведения информационных войн”, “Воздействие Ф. М. Достоевского на формирование нравственных идеалов Ю. И. Селезнёва”, “Образ России в зарубежных СМИ”, “Статья Ю. Селезнёва “Мифы и истины” сорок лет спустя”, “Русская дорога Николая Рубцова (в контексте взглядов Ю. Селезнёва)”... Здесь же доклады, посвящённые выдающимся землякам критика Виктору Лихоносову и Юрию Кузнецову. И творчество тех, о ком он также успел весомо, с истинно селезнёвской пронизательностью высказаться: от Л. Толстого, Ф. Тютчева, М. Меньшикова до М. Пришвина, В. Белова, В. Шукшина, В. Астафьева...

В актовом зале факультета журналистики, вижу, преобладают молодые. Но ведь на то она и “научно-практическая”, эта конференция, чтобы, наряду с опытными педагогами, преодолев волнение, заявили свои темы и студенты, аспиранты, магистранты. На пленарном заседании или в секциях... И невольно вспомнилось, что и сам я, ещё в конце пятидесятых, в числе “семинаристов” филфака МГУ почитал за великую радость просто присутствовать на таких вот собраниях, внимая речам маститых наставников. Так и Юрий Селезнёв когда-то испытывал здесь, в Краснодаре, себя – сначала в чине студента-филолога, а потом и преподавателя русского языка для иностранцев...

Как ни трудно возвращаться памятью к пережитой катастрофе, но все же начну с дневниковой записи 1984 года. Того самого, который вдруг поставил непреодолимую преграду нашему живому человеческому общению с Юрием Ивановичем Селезнёвым.

“17/VI-84. Вчера утром, в пятом часу, на рассвете, не стало Юры. Сейчас сел писать об этом и опять реву. Марина рассказывала вчера – между приступами неудержимого плача, – что утром в Берлине сильно пели птицы. Юра, ещё ложась, пожаловался на жжение в груди. Она решила: изжога. Утром он поднялся с кровати, сходил в туалет, сел в кресло, начал растирать левую руку. Она не спала тоже. “Жжёт в груди, и рука болит”. Она достала валокордин, предложила разбудить хозяев. “Спи!” – приказал он сердито. Не хотел никого беспокоить. Потом вдруг поднялся, пошёл по комнате, вскрикнул: “Зови их, зови!” – и начал падать. Терпел боль до конца. Через 15 мин<ут> – “Скорая помощь”. Он уже похолодел”.

Добавлю к той записи: о последних часах и минутах жизни своего мужа Марина (в девичестве Кузнецова), мать их единственного с Юрой ребёнка, рассказывала присутствующим, – а среди них был и я, – на московской квартире своих родителей, вечером именно того же самого 16 июня. Неумолимый параграф международного протокола потребовал её немедленного возвращения домой, в СССР. Жёсткость этого требования совпала с её внутренней опустошённостью и обезволенностью. Что было ей ещё делать в доме немецкой радушной четы (он – литературовед, знакомый Вадима Кожина, его супруга – медсестра). Ведь в Берлине останавливались всего на ночь, утром предполагали отправиться к взморью, на отдых, такой долгожданный (Селезнёв только что завершил сбор материалов для биографической книги о Лермонтове).

Ещё одна запись тех дней: “Суббота, воскресенье, утро понедельника, когда писал некролог (опубликованный в “Комсомольской правде” за подписью И. Ф. Стаднюка. – Ю. Л.), вторник, когда сказал Юриной маме, что он умер, среда, когда встретили гроб в Шереметьевском аэропорту, сегодня, когда нам в морге показали несчастного Юрочку, с неловко наклоненной набок головой, потому что он не уместился в гробу, – все эти дни прошли как какие-то томящие сновидения, когда нет сил длить сон, но и нет сил стряхнуть его с себя”.

В пояснение к этой записи могу добавить, что со своей мамой, Прасковьей Моисеевной, Юра познакомил меня весной того же года, в Москве. Она приехала из Краснодара по его приглашению, желая увидеть, как наконец-то устроился её единственный и бесконечно обожаемый Юрочка в такой спокойной и непростой для него столице. Познакомил он нас прямо на улице, в двух шагах от здания издательства “Молодая гвардия”, где солнечным, кажется, апрельским утром неспешно прогуливался с маленькой и тихонькой своей матушкой... А в тот день, когда ее срочно привезли в Москву в связи с его, как обтекаемо объясняли по дороге, “нежданным недомоганием”, и когда продлевать эту затянувшуюся неправду было уже для всех невмоготу, попросили меня зайти в комнату его квартиры, где она в эти минуты томилась одна... Тот, кому хоть раз пришлось исполнять подобное поручение, поймёт... Жалкая, косноязычная жестокость отсроченного признания: “Простите нас всех, но Юры больше нет с нами...”

Или она уже сама догадывалась? Или всё ещё подпытывалась последними крохами надежды?..

Позже, через несколько лет, когда я повидался с ней в Краснодаре, и она показывала немногие сбережённые ею фотографии, письма от сына из Москвы, меня особенно зацепило одно из них – чрезвычайной, просто телесно-физической близостью к часу его кончине. Письмо было отправлено из Москвы 8 числа того самого рокового для него июня. Значит, всего через неделю всё и случилось.

“Мамочка, родная моя, милая, добрая мамочка! Здравствуй!

Получил твоё письмо и вот – отвечаю сразу же.

Сегодня получили заграничные паспорта на поездку в ГДР, купили билеты на поезд на 14-е июня, 15-го будем уже в Берлине, а потом поедем в старинный город Грайсфальд на берегу Балтийского моря. Хотим ещё съездить в Дрезден и Веймар. Вернёмся, видимо, в конце месяца – между 25-м и 30-м. Приедем – сразу напишу тебе.

Настюха (младшая дочь Ю. Селезнёва. — Ю. Л.) живёт в деревне. Неля (мать Марины. — Ю. Л.) туда поехала на несколько дней. В понедельник вернётся, расскажет, как они там живут.

С Алькой (старшая дочь. — Ю. Л.) пока не решено с морем. Обещают, но ещё не точно и не известно, когда.

А в Москве немного похолодало, дожди. После сильной жары это даже приятно.

Саша (А. Федорченко — краснодарский писатель, друг Ю. Селезнёва. — Ю. Л.) пишет, что ты обещала зайти к ним, да так и не зашла — не приболела ли? Родненькая, как у тебя с деньгами? Приеду и сразу вышлю тебе, числа 1-го, но если трудно, пришли срочно телеграмму, я пошлю до отъезда.

Ну, вот, больше и новостей нет. Живём по-старому, не болеем, работаем. Вот — собрались отдохнуть. Приеду, начну работу над книгой о жизни Лермонтова, примерно в том же роде, что и о Достоевском в серии “Жизнь замечательных людей”.

Приветы твои всем передаю, и тебе поклоны от твоих московских близких и друзей.

Береги себя, родная. Отдыхай побольше, в гости ходи, в кино, не сиди дома всё время.

Целуем тебя, наша милая, добрая мамочка и бабушка.

Пиши.

Может, ещё до отъезда успею тебе написать. А нет, значит, как приедем. Крепко обнимаем, всего тебе доброго.

Твои Юра, Марина, Настенька, Алиночка.

В день рождения Альки гуляли с ней по Москве, в парке, водил её в Дом писателей. Купил ей много цветов, подарил собрание сочинений Блока, плёнки для магнитофона с песнями и ещё разной мелочи. Была очень красива и довольна нашей встречей”.

Могли ли эти, как всегда, ласковые приветы и пожелания, будто перепелёнутые сыновней заботой, вселить в её сердце острое предчувствие? А разве навестило оно в те дни кого из нас?

Письмо, которому суждено было стать предсмертным, отрывки из ещё из девяти писем из личного архива Прасковьи Моисеевны Селезнёвой, касающиеся работы сына над биографией Достоевского, были опубликованы в журнале “Образ” № 3 за 1996 год с выражением сердечной благодарности матери нашего друга.

* * *

В разные годы я уже писал о Юрии Ивановиче Селезнёве, рассказывал о том, как он раскрывался нам в дружестве. Именно всем нам, потому что нас было много. В день, когда встречали его тело на пустынных задворках аэропорта в Шереметьево, среди нас оказался и художник Николай Козлов. Одарённый живописец, пейзажист, он был ещё и книжным графиком, не одна книга в серии “ЖЗЛ” вышла с его иллюстрациями. Через несколько дней после того холодного предвечернего часа он показал нам распечатанную в достаточном количестве экземпляров небольшую гравюру. Нас человек десять или двенадцать, мы стоим тесно, как-то по-сиротски сблизившись, будто тем самым хотим отгородиться от предстоящей встречи с оцинкованным грузом, который уже везут в нашу сторону издали, от безлюдного всхолмления, залитого каким-то зловещим, безразличным к нашему горю светом... Один экземпляр хранил я дома. Отчётливо помню исходящее от него настроение общей молчаливой покинутости. Но, собираясь в Краснодар, я обыскался во всех Юриных книгах и не нашёл гравюру. Точно помню, что среди ожидающих были, кроме самого Николая Козлова, Валерий Сергеев, Виктор Калугин, Сергей Лыкошин, Николай Кузин, Владимир Зимянин, Виктор Гуминский... Но нас и там, и не только там, было ведь гораздо больше. Юрий Иванович любил и умел дружить сразу со множеством людей. В этом множестве никто не чувствовал себя обделённым и, кажется, не томился от недостатка внимания. Селезнёв будто купался в радости общего дружества людей, согласных в главном.

Из экономии времени не стану пересказывать свои воспоминания о нём “Стоило увидеть его однажды...” в книге 1987 года, изданной здесь, в Краснодаре, его ближайшими друзьями. Позже была статья, написанная специально для журнала “Слово” — “И поймёшь иную жизнь...”, — в том числе и с рассказом о совершенно необычном для тех времён “бесцензурном” издании биографии “Достоевский”. Потом для журнала “Наш современник” я готовил со своим предисловием большую подборку высказываний о Селезнёве его друзей и добрых знакомых — к семидесятилетию со дня его рождения.

Но и сегодня не могу сказать, что память о нём исчерпалась во мне сполна. Просто что-то, будто исчезнувшее насовсем, вдруг вспоминается с какой-то упругой, заждавшейся своего часа отчётливостью. В 1976 году, в тот самый день и час, когда Сергей Семанов, покидавший кабинет главного редактора серии “ЖЗЛ”, привёл к нам для знакомства своего преемника, Селезнёв, улучив минутку, уже в коридоре, куда вышли покурить, перво-наперво сказал мне, будто прерванный разговор продолжая, что прочитал моего “Сковороду” и очень надеялся однажды познакомиться с автором, а теперь, значит, будем ещё и работать вместе. Его при этих словах открытая южнорусская радостная улыбка, его неожиданная, с налёту похвала книге, такое же неожиданное признание, что и он совсем ещё недавно носил бородку, да вдруг поневоле пришлось сбрить, потому что для комсомольских высших чинов на Маросейке, к которым его повезли по поводу представления к должности, бородачи подозрительны, и он, преодолев досаду, смирился, но всё равно теперь бороду снова запустит, — всё это вместе меня в нём так обезоружило, так избавило враз даже от тени недоверия, что уже через несколько дней, посоветовавшись подробнее по рабочим редакционным делам, мы могли бы, пожалуй, признаться друг другу, что “единомыслие исповемы”. Если бы не тень тургеневского Базарова, в котором оба мы ценили его грубоватый укор приятелю: “Аркадий, не говори красиво”.

Такой стремительный прирост дружеского чувства мог, однако, по моей неловкости, почти тут же и иссякнуть. В февральский день, когда он подарил мне с надписью свою первую, только что изданную книжку — “Вечное движение”, — я, наспех полистав её за продолжающимся разговором, вместо того, чтобы порадоваться тому, как много прекрасных писательских имён здесь впервые собрано под одной обложкой, вдруг буркнул, что Андрей Битов в этом кругу выглядит не вполне своим или даже совсем не своим. А сверх того добавил, что и заглавие “Вечное движение”... как-то не очень... То есть отдаёт каким-то топтанием на месте, нет в этом *перпетум мобиле* стремления вырваться из привычного круга.

Может, он и хотел скрыть степень своего расстройтва услышанным, но не смог. Глаза его будто заволочились туманом, и в неловком, негромком “Да?” просквозила обида. Но через миг уже заговорили о другом, будто ничего и не промелькнуло между нами. Хотя я ещё и ещё про себя вспоминал ту минуту, огорчаясь своей бестактностью. Ведь, вполне возможно, ему кто-то намеренно посоветовал дать в названии побольше молодёжного задора: движемся, мол, ребята, движемся... Пока не понял однажды: ну, и пусть! Значит, так и нужно было — сказать это напрямую. И впредь может понадобиться такая взаимная нещадящая, нелестная прямота нам обоим.

И она понадобилась, и не раз. И когда он, внимательнейше прочитав машинопись моего “Дмитрия Донского”, сказал напоследок, что ожидал всё-таки большего, потому что я, как ему показалось, не вполне и не во всём управлялся. Или когда я, принимаясь за его рукопись о Достоевском, сказал в шутку, при свидетелях, что буду “резать по живому”. Но о том, что именно позже пришлось по машинописи сокращать или уточнять, знали только мы с ним двое, без ёрничающих и потирающих ручки согладатаев.

Не удержусь всё же и процитирую из своей статьи “И поймёшь иную жизнь...”:

“И вот непонадобившуюся страницу он, перечеркнув крест-накрест машинописные строчки, в день сдачи рукописи с усмешкой протянул мне. Я тут же прочитал приписанное от руки: “Ну, Юра! Я тебя, прости, Бога ради, довёл до отчаяния, но и ты зато укатал меня. Хоть бы уж твой-то труд не пропал даром. Спасибо тебе, родной.

Ю.

Там уж, где я заартачился-закапризничал и ослушался — оставь уж так: пусть, если она всё-таки будет, эта книжка, то будет хоть немножко и моей. . .”

Кажется, я ничего не ответил ему в ту минуту, настолько были переполнены для меня смыслом эти несколько строк, где он, едва ли не впервые за годы нашей дружбы, назвал меня родным. Степень же моего “отчаяния” и участия в его труде была, конечно, страшно преувеличена, как и мера его капризности. Но это было так в духе его великодушного характера. . .

Наконец, в этих строках уместилась и наша общая на тот час тревога: “если она всё-таки будет”.

Это умение доходить в дружбе до пределов взаимной выдержки, самообладания, откровенности в поисках искомого, но не всегда сразу достижимого единомыслия я видел не раз и в работе Селезнёва с другими авторами. Ну, с тем же Вадимом Валерьяновичем Кожиновым, когда после нескольких часов сидения взаперти над рукописью “Тютчева” они выходили из Юриного молодогогвардейского кабинета обкуренные, погружённые в себя, как бы даже слегка отчуждённые, с печатью измождения на лицах.

* * *

О дружбе мужской трудно сказать что-то новое, необычное, что не было уже пережито, осмыслено и высказано другими, может быть, познавшими в дружестве гораздо большие глубины, чем успели мы, любившие Юрия Селезнёва, жаждавшие с ним дружества или, сказать по Гоголю, товарищества.

Но всегда, когда мы решаемся думать и говорить о дружбе, остаётся для всех недостижимый её образец, высказанный однажды евангелистом Иоанном Богословом (15; 12):

“Сия есть заповедь Моя: да любите друг друга, якоже возлюбих вы; болши сея любве никтоже иметь, да кто душу свою положит за други своя”.